

РАССКАЗЫ

ПОЧТИ СМЕРТЬ

Она вздумала умереть в начале февраля. К тому времени мы не созванивались уже дней десять или больше, мы даже не заметили этого, потому как каждый был занят собой: она одинокой, бессобытийной старостью, я — одинокой, событийной молодостью. Она — моя бабушка, я — ее внук. Она — полковник милиции в отставке, я — актер, умело маскирующийся под режиссера. Между нами города, годы, любовь, ненависть, прощение и прощание. В детстве мы спали вместе, у меня не было комнаты, мы спали на одном диване: женщина шестидесяти лет и десятилетний мальчик. Я не мог заснуть без тепла ее руки в моей руке, она отворачивалась к стене, но перекидывала ко мне свою шершавую (от белизны, обработка углов после кота) руку, и я засыпал, но прежде произносил молитву, которую сам сочинил, мантрочка на сон грядущий, два предложения, текст, который я никому не скажу, не передам, не опубликую, единственный сакральный текст, incapable покинуть меня, иначе мне придет крышка, ночь превратится в затяжной кошмарный сон, и в этом сне я умру или еще чего хуже. Что это — хуже — я до сих пор не знаю.

Теперь ей восемьдесят один, и она вздумала умирать. Утром встала с кровати, закружилась голова, упала на пол, так ломается кукла на шарнирах, складывается в горстку дряблых мышц под тонкой кожей и, кажется, не найдет в себе сил встать. Но вдруг находит. Переползает на кровать, лежит на кровати, на той самой кровати, на которой мы когда-то лежали вместе, лежит и протягивает руку не внуку, а смерти, на вот, бери, забирай, сколько я буду здесь так лежать, сильная, с железной волей, полковник милиции, прожившая свою жизнь без слез и слабостей. Но никто не берет руку, как ни зови. Остается лежать и ждать, не есть, почти не пить, терять и без того потерянную форму, размывать свои краски, как будто кто-то тебя разбавил водой и от твоего первого цвета ничего не осталось. Какая ты была? Зачем такой стала?

— Похороните меня, вот и все, что еще тут говорить? — голос в трубке на мой переставший быть дежурным вопрос: как ты там?

— Бабуль, я хочу тебя попросить, как прилетишь туда, — показываю на небо, она, понятное дело, не видит, да и не верит, — держи там за меня кулаки.

— Прежде чем держать кулаки, мне надо умереть, — отвечает и кладет трубку. И мне здесь крыть нечем.

Это был ковид. При условии, что она не выходит из дома уже несколько лет, кто-то заразил, наверное, соседи. Она пролежала две недели, не вставая с постели, за

Денис Андреевич Сорокотягин родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Лауреат международных конкурсов вокалистов, чтецов. Автор учебных пособий для ДМШ и ДШИ. Режиссер, художественный руководитель «DAS-театра». Актер Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой. Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни». Живет в Москве.

ней ухаживал ее сын, мой отец, и его жена. Она не принимала таблетки, не кашляла, не задыхалась, почти не разговаривала, а потом в один день все само собой разрешилось. Она встала и раздумала умирать. Вдруг откуда-то появился азарт, так чувствуют себя победившие, перемены слышались в голосе, он стал звонче, моложе прежнего, наполнился обертонами, красками, в лежачем, двухнедельном состоянии в редких фразах, сказанных по телефону, не было и капли жизни, если смерть и не брала ее за руку, то наверняка сумела проникнуть в голос, я не узнавал ее артикуляцию, манеру говорить, строй предложений.

Голос — катализатор наших болезней, тревог, побед и поражений. Если ты умеешь слышать голос другого, понимать другого по голосу, есть большая вероятность, что ты сумеешь услышать себя.

По китайскому гороскопу моя бабушка — змея. На восемьдесят первом году она подтвердила это своей почти смертью. Это какая-то уникальная способность: спрягаться в песок, превратившись в могильный холмик, затаиться, регенерироваться, сбросить отмершую кожу и выйти из песка живой и новой.

Здесь важно сказать, что в какой-то из дней февраля, когда каждый наш разговор был «как бы последним», я отпустил ее туда (снова показываю на небо, она не видит и снова не верит), я прожил ее смерть, выпустил свою руку из ее руки и, прочитав самодельную молитву, заснул без тревоги и волнения. Ушедший туда мне видится живущим (существующим) в безопасном месте, он менее уязвим, чем находящийся здесь, на земле. Мы пребываем в перманентной опасности, в разбавленном слезами страхе, что новой регенерации не будет и мы так и останемся в этом песке одинокой, бессобытийной молодости, потом старости, а потом и вовсе превратимся в мелкий песок.

Два дня назад я созвонился с бабушкой. Когда почти смерть сменилась для нее жизнью, ее новым, змеевидным витком, наше общение снова свелось к двум-трем звонкам в месяц. Между нами так и осталась стена непонимания, но мы стали ближе. Почти смерть помогла нам услышать друг друга. Мы обсудили с ней, как жить в новое время. Уйти с головой в песок, задохнувшись там, или же продолжать верить в мировую регенерацию. Почти смерть себя, своего дела, стремлений, мечт — все это так сейчас знакомо и осязаемо. Сколько продлится наша почти смерть? Она невсамделишная, понарошковая, ты как будто снова в детстве, в кошмарном сне, в битве со злом, оно тебя или ты, где та рука, которая вытащит из этого морока?

Моя бабушка, всю жизнь говорившая словами из телевизора, впервые заговорила своим, новым голосом. На девятом десятке. Пройдя почти смерть и выйдя из этого сражения победительницей, она больше не хочет никаких войн. Она хочет мира. Пусть одинокого, пусть бессобытийного, пусть мира только для себя, в этом возрасте можно иметь на это право, мира, раскрашенного редкими звонками внука-артиста (что с него взять), двумя-тремя фразами, брошенными ей соседями, бегущими по лестницам вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз.

09.05.22

Начну с наблюдения. Точнее, открытия.

Когда открываешь баночку с кока-колой, делаешь первый глоток — попадаешь в персональное детство. Когда ставишь баночку на стол рядом с книжкой Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» — слышишь, как в баночке лопаются газовые пузырьки. Так звучат капли дождя, падающие на жестяную крышу твое-

го персонального детства. Неминуемая близость тепла, лета, скорых каникул будто ставятся под сомнение такими дождливыми, по-осеннему вымученными, хмурыми днями в начале мая.

На Девятое мая, сколько себя помню, всегда шел дождь. В этот год дождь — не какая-то системная ошибка, не сентиментальный, размытый фон. Дождь, несмотря на свое постоянное стремление к бесформенности, готовности перелиться через край, сегодня особенно четок, выверен, вступает в нужных местах, обозначенных в сценарии (кем-то, зачем-то), вдруг польет и замолчит, вставит реплику и отойдет назад, крикнет и будто бы исчезнет, но вновь появится в самый подходящий момент.

Лежал на диване в своей съемной комнате. Думал о том, что нужно когда-нибудь описать свою комнату, сохранить ее дух, попробовать перенести его на бумагу. Ведь комната съемная, когда-то меня в ней не будет, и, может быть, это случится скорее, чем я предполагаю. Уже семь лет мы вместе — она и я, и пыль на чешской стенке, которую так никогда и не видел в глаза, мои книжки, костюмы, роли, несыгранные и сыгранные. Все это нужно укомплектовать, систематизировать, сделать опись. Вдруг все в один ужасный день взлетит на воздух, но никуда не исчезнет, только распадется на части, куски, и ты каким-то чудом останешься относительно жив и цел и в этом хаосе разрушения сможешь собрать разрушенный пазл своей комнаты, чтобы укрыться. Было бы не вернуть, но опорные точки наверняка останутся прежними.

В это Девятое мая я думаю о чем-то другом, но не о том, о чем не могу сегодня думать. Не могу, потому что не хочу. У меня просто нет сил.

За стеной квартирная хозяйка включает телевизор. Я слышу звуки парада, музыку гимна, только музыку, без слов, слова будто отменены, но каждый из нас, слышащий эту музыку, не может освободить ее от вживленных намертво слов. Я прокручиваю эти слова в голове по ходу мелодии, понимаю, что они идут вразрез с действительностью, они разрезают не только действительность, но и меня на два куска, лежащие на диване. Мне плохо, меня тошнит, я выхожу из дома на воздух.

В Гончаровском парке, рядом с домом, есть пруд, фонтан, утки, кофе в стаканчике, вот только покоя, тишины, молчания — нет. По аллеям прогуливаются девочки-девушки-женщины-полицейские (без возраста, без пола и будто без цели), с резиновыми дубинками, покачивающимися между юбок. Кого они ждут, кого ищут, кого охраняют? Вдруг срываются с места, и по чьему-то зову прекращают меланхоличное праздничное шатание, и бегут куда-то на другой конец парка, не меняясь при этом в лице (одном на всех). Их дубинки кажутся мне эмоциональнее, чем они сами. Наверное, они предпочитают скорую работу, им тоже надоело болтаться без дела и прятаться за юбку.

В вагоне метро напротив сидит молодая женщина, ярко накрашенная и одетая по-праздничному. Рядом с ней девочка лет восьми в гимнастерке, пилотке, две косички закручены бубликами. Понимаю, что дочка. В руках у девочки четыре красные гвоздики. Взгляд озорной. Для нее это какая-то игра с переодеванием, в которую можно поиграть только раз в году. Мама девочки отходит к коляске, в которой расплакался годовалый карапуз, сынок. Мамочка достает его из коляски, и я вижу, что он тоже не отстает от сестры — при полном параде: пилотка, георгиевская ленточка, любовно завязанная бантиком на крошечной гимнастерке. Все ведь хорошо, но вот только почему-то плачется, и остановиться все никак не можешь. Сестренка смотрит на братика и, кажется, становится еще счастливее от его плача, ведь она взрослее и может то, чего он не может, вот, например, держать эти четыре гвоздики, держать в уме выученный стих о какой-то далекой войне, за который учительница поставила пятерку с плюсом. Насмотревшись на детей (со стороны наверняка выглядело странно), перевожу взгляд на маму и понимаю, что не вижу ее лица, точнее, вижу, но не могу за-

помнить: оно какое-то стертое, нарочно неприметное. Семья выходит на «Боровицкой», я еду дальше. И все думаю, за какой стих девочка получила пятерку. Мне бы очень хотелось, чтобы за этот:

АНГЕЛ ВОЙНЫ

Выживет слабый. И ангел Златые Власы
в бомбоубежище спустится, сладостный свет источая,
в час, когда челюсти дней на запястье смыкая,
остановились часы.

Выживет спящий под лампочкой желтой едва,
забранной проволкой — черным намордником страха.
Явится ангел ему, и от крыльев прозрачного взмаха
он задрожит, как трава.

Выживет смертный, ознобом души пробужден.
Голым увидит себя, на бетонных распластанном плитах.
Ангел склонится над ним, и восходят в орбитах
две одиноких планеты, слезами налитых;
в каждой — воскресший, в их темной воде отражен.

Виктор Кривулин

Сегодня в Театре Камбуровой мы даем спектакль «Капли датского короля», по песням Булата Окуджавы. Этот спектакль прошел уже больше шестисот раз, и всегда с переаншлагом. Сегодня же у Булата Шалвовича день рождения. Я буду петь его песни, слушать отрывки из дневников с воспоминаниями о той войне, буду дивиться, до какой степени одинаковы и топорны те лекала, по которым шьются темные дела из багровой, тяжелой от крови ткани. Я буду молиться с той же силой, с тем же упорством, с тем же отчаянием перед невозможностью переделать этот мир.

Я буду пробовать. Я буду пытаться. Снова и снова. Пока не исчезну, пока земля еще вертится, пока дождь льется по жестяной крыше моей персональной жизни.